

МИХАИЛ ЛОБАНОВ

БЛАГОСЛОВЕННО
ВСЁ ДОБРОЕ НА ЗЕМЛЕ,
ВСЁ СОСТРАДАЮЩЕЕ
И МИЛОСЕРДНОЕ

Из последней автобиографической книги¹

Убеждение

Как в жизни, так и в литературе больше всего хранится в памяти людей то, что затрагивает сокровеннейшие чувства человека, связано с тем, что принято называть “нравственным законом в сердце человека”. В данном случае, с чувством жалости. Ведь Сам Христос “увидел множество людей и сжалился над ними, и исцелил больных их” (От Матфея, 14, 14). В рассказе Толстого “Смерть Ивана Ильича” весь пафос обличения (прожитая фальшивая жизнь героя-чиновника; лицемерный траур чиновников при похоронах сослуживца; раздражение больного отца цветущим здоровьем дочери, пришедшей к нему со своим женихом) — всё это затмевается пронзительной жалостью-любовью умирающего к своему маленькому сыну-гимназисту.

Свойственная русской классической литературе этическая чуткость одухотворяла и лучшие книги литературы советского периода, рождённые в грозное время эпохи. Как пароль своего революционного времени, была такая популярная песня:

*Наш паровоз, вперёд лети,
В коммуне остановка.
Иного нет у нас пути,
В руках у нас винтовка.*

Но какой простенькой агиткой выглядит этот паровоз в сравнении с тем паровозом в рассказе Андрея Платонова “В прекрасном и яростном мире”, который мчится сквозь объётое грозой пространство: “Мы теперь шли навстречу мощной туче, появившейся из-за горизонта. С нашей стороны тучу освещало солнце, а внутри её рвали свирепые, раздражённые молнии, и мы видели, как мечи молний вертикально вонзались в безмолвную дальнюю землю, и мы бешено мчались к той дальней земле, словно спеша на её защиту. Александра Васильевича, видимо, увлекло это зрелище: он далеко высунулся в окно, глядя вперёд, и глаза его, привыкшие к дыму, огню и пространству, блестели сейчас воодушевлением. Он понимал, что работа и мощность нашей

машины могли идти в сравнение с работой грозы, и, может быть, гордился этой мыслью”.

Такова и была революционная советская эпоха, яростная – в своём героическом порыве “к той дальней земле, словно спеша на её защиту”, и “прекрасная” – в своей глубинной человечности. Машинист Мальцев, управляя паровозом курьерского поезда, в грозу от удара молнии теряет зрение; не замечая предупреждающих сигналов, случайно избегает катастрофы. На другой день он снова стал видеть, и как виновника за возможное крушение с гибелью сотен людей его судят и сажают в тюрьму. Помощник Мальцева Костя, свидетель его внезапной слепоты от удара молнии, уговаривает следователя провести экспертизу над зрением Александра Васильевича в специальной физической лаборатории. В результате опыта он опять стал слепым. Оба тяжело переживают случившееся. “Я не знал, что мне придётся доказать невиновность человека посредством его несчастья, – сказал следователь. – Это слишком дорогая цена”. Костя, у которого при известии о беде “мгновенно сгорела душа”, думает о Мальцеве: “. . . я хотел защитить его от горя судьбы, я был ожесточён против роковых сил, случайно и равнодушно уничтожающих человека < . . . > я видел, что происходят факты, доказывающие существование враждебных, для человеческой жизни губительных обстоятельств, и эти губительные силы сокрушают избранных, возвышенных людей < . . . >. И я пришёл в ожесточение и решил воспротивиться, сам ещё не зная, как это нужно сделать”.

Первым шагом в этом делании стало то, что Костя, ставший сам машинистом, берёт своего бывшего учителя в рейс. “Когда мы тронулись вперёд, я посадил Александра Васильевича на своё место машиниста, я положил одну его руку на реверс и другую на тормозной автомат и поверх его рук положил свои руки. Я водил своими руками, как надо, и его руки тоже работали. Мальцев сидел молчаливо и слушался меня, наслаждаясь движением машины, ветром в лицо и работой. Он сосредоточился, забыл своё горе слепца, и кроткая радость осветила измождённое лицо этого человека, для которого ощущение машины было блаженством”.

Читатель, знающий, что значит для платоновских героев паровоз, работа машиниста, не сочтёт за фантастику, литературный эффект то, что в конце рейса Мальцев начинает видеть свет, – от прикосновения к тому, что сам писатель в “Одухотворённых людях” назвал “высшей жизнью”.

Андрея Платонова надо перечитывать. Он даёт то, чего нет в современной литературе, погрязшей, за редкими исключениями, в житейской мелкотравчатости, пошлости, безразличности. Как Есенин – противоядие мертвящей рационалистичности, рассудочности, космополитичности сознания, так Платонов – защита, утверждение таких основополагающих христианских качеств, как любовь, сострадание, жалость. В его рассказе “Возвращение” говорится о перевороте в герое под влиянием сострадания: “Он узнал вдруг всё, что знал прежде, гораздо точнее и действительней. Прежде он чувствовал жизнь через преграду самолюбия и собственного интереса, а теперь внезапно коснулся её обнажившимся сердцем”. Обнажённая боль на человеческое страдание². Особенно болезненна реакция писателя на детские беды. Прошка из “Происхождения мастера” и Петрушка из “Возвращения” похожи друг на друга, обоим – по двенадцать лет, но у каждого “разум выше его детства”, павшего у одного на голодные годы, у другого – на Отечественную войну. Оба – уже маленькие мужички, рассудительные и хозяйственные, освоившие роль хозяина в семье без отца. Встреча и разговор машиниста Захара Павловича с “побирушкой” Прошкой завершилась для него разочарованием в своём прежнем убеждении “в драгоценности машин выше любого человека”³. Мальчик при всей своей бойкости, бесцеремонном попрошайничестве уязвил его душу словами всё о том же хлебе, о младших братишках – “нахлебниках”, которых он должен кормить сортировкой подаяния, из которого для себя откладывает худшее. Нерадостной думой провожает он уходящего в свой путь мальчика.

“Прошка уходил всё дальше, и всё жалостней становилось его мелкое тело в окружении улегшейся огромной природы. < . . . > Прошка пропал на закруглении линий – один, маленький и без всякой защиты. Захар Павлович хотел вернуть его к себе навсегда, но далеко было догонять. < . . . > Захар Павлович никак не мог забыть маленькое худое тело Прошки, бредущего по линии в даль, загромождённую крупной, будто обвалившейся природой. < . . . > Он видел жалобность Прошки, который сам не знал, что ему худо, видел железную

дорогу, работающую отдельно от Прошки и от его хитрой жизни, и никак не мог понять, что здесь отчего, только скорбел без имени своему горю. <...>

Тот тёплый туман любви к машинам, в котором покойно и надёжно жил Захар Павлович, сейчас был разнесён чистым ветром, и перед Захаром Павловичем открылась беззащитная, одинокая жизнь людей, живших голыми, без всякого обмана себя верой в помощь машин”.

* * *

“Все мы одинаки”, – сказано где-то Толстым. Но о том же Толстом известный протоиерей Иоанн Восторгов (расстрелянный после Октябрьской революции троцкистами за свои русские патриотические убеждения), отмечая “несомненный великий дар художественного творчества” писателя, говорил, какая пропасть лежит между двумя людьми – тем же Толстым и Иоанном Кронштадтским. “Какая разница жизни и деятельности” “двух пророков”: “одного слугу Христова, другого – антихристова, одного – как служителя духовного созидания, другого – как мрачного гения отрицания и разрушения” (Святые черносотенцы. М., Институт русской цивилизации, 2011. С. 703).

Из своего опыта долгой жизни я вывел три принципа, по которым можно разделять людей: совесть, благодарность, убеждение. Во всей своей жизни я не знал примера совести более показательного, сильного, чем поведение моей бабушки по матери – бабушки Анны (это было в 30-х годах прошлого столетия), которая, узнав, что нашей матери с её кучей детей предлагают переселиться из барака в большой, раскулаченный дом, сказала строго: “Не смей, это не твой дом. На чужом горе не жди добра”. Так и осталась мать ютиться в барачной комнате с оравой детей.

Совесть, как глас Божий, руководила русским народом в его исторической жизни, была опорой его моральных сил в противодействии неправде, социальной несправедливости, была грозным знаком возмездия своим поработителям. Митрополит Антоний (Храповицкий), необычайно высоко ставивший Достоевского как христианского писателя, говорит о нём (в статье “В день памяти Достоевского”), что он “учил нас прежде всяких теорий слушать голос своей совести”, был убеждён, что “у русского человека преимущественно пред всеми народами развито чувство милосердия и сострадания”, чувство “жалостливости” (Митрополит Антоний (Храповицкий). Сила Православия. М., Институт русской цивилизации, 2012. С. 360, 444).

В повести В. Астафьева “Где-то гремит война” женщина-сибирячка получила похоронную на мужа (время действия – 1942 год). Молит семнадцатилетнего племянника навестить её. И вот между ними происходит знобящий душу разговор. Она “надумала удавиться”. Её маленьких детей “приберут в детском, кормить, одевать станут. А то и мне смерть, и им смерть”. Потрясённый тёткиной мыслью о самоубийстве, племянник надрывным криком хочет перебить безумие несчастной, но сам вместе с нею маяется в ставшей общей беде. Вот оно, пронзительное чувство русского сострадания, жалости.

В другой повести В. Астафьева “Кража” говорится: “Мальчишка, конечно, и не подозревал, что сейчас в нём пробудилась и заговорила российская жалость, та ни с чем не сравнимая жалость, которая много вредила русским людям, но и помогала сохранить душу, оставаться людьми”.

Чувство жалости у меня было с раннего детства. Жалость к гусям, которых разводили в доме бабушки Анны, где мы тогда жили с матерью после смерти отца⁴. Я пас гусей неподалёку от дома, на лугу (называли его старинной), и дядя Федя, занимавший с женой и маленькой дочкой отгороженную перегородкой комнату в пятистенной избе, странно шутил: вот скоро твоих гусей будем резать. Я злился, как-то ответил ему безобразной глупостью: “Зарежь свою Нинку” (эта дочка его рано умерла). Дядя страшно рассердился, назвал меня дураком, но после уже не повторял свою шутку.

Жалел мать, когда она вышла замуж за мужа своей подруги, просившей её перед своей смертью не оставлять сиротами пятерых её детей (и мать исполнила её просьбу, и все они, Агаповы, называли её матерью). Долго я не хотел уходить из бабушкиного дома, но зная, как переживает это мать, всё-таки перебрался в барак. Помню, как однажды, выйдя на улицу, я обернулся и посмотрел на окно и, видя открытую форточку, возвратился в комнату,

боялся, что мать простудится, может заболеть и умереть. Это был какой-то приступ страха, что мать может умереть.

Вообще, с матерью в моей жизни связаны какие-то особенные, почти мистические переживания. Когда-то (кажется, в 60-е годы) дочка моего двоюродного брата по матери Бориса Конкина, учившаяся в музыкальной школе, записала на плёнке пение моей мамой русских старинных народных песен, и вот приехавший ко мне её отец, желая порадовать меня, включает запись, что-то пискнуло, и меня как током ударило! “Перестань!” Голос мамы, а её нет! Жутко! Не только слушать, но и не мог держать эту запись у себя. Передал её самому младшему брату Александру, который и хранит её у себя дома.

Когда я после ранения на фронте и госпиталя уезжал в 1944 году в Москву учиться в МГУ, дед по матери Анисим Иванович Конкин, работавший машинистом на местной ватной фабрике, провожал меня сердитыми словами: “Учиться поехал, а кто матери помогать будет? Посмотри на неё, почернела вся”. Мать молчала, понуро опустив голову. С нею оставалась куча детей. И эта мелкота, и сама она больно пощипывали мою душу все пять лет моей университетской жизни, и, бывало, когда я приезжал к ним на каникулы со сбереженными белыми батонами (иногда их давали нам как инвалидам Отечественной войны по талонам вместо чёрного хлеба), все получали по куску невиданной еды, и нельзя было без щемящего чувства смотреть на изголодавшуюся малолетнюю братву. И они не только выжили в военную и послевоенную пору (под печальные угрозы матери: “Ребята, не будете меня слушаться – я умру”), но и каждому нашлось место в жизни по его способностям. Трое окончили институт, четвёртый – техникум. Разъехались по разным городам страны, у всех была налаженная семейная жизнь, работа. Когда собирались все вместе у матери – вспоминали прошлое, забавные истории, скудные радости нищего детства, а хлопотавшая у застолья мать, помня их голодные глаза за пустым столом в те военные, послевоенные времена, говорила как бы в возмещение тех лишений: “Ешьте, ребята”.

Судьба хранила, возможно, по её молитвам, жизнь, благополучие её детей, их семей, но вот незадолго до её смерти грянула “перестройка-революция”, взорвавшая страну, обрешая народ на неисчислимые страдания, на вымирание. На тех заводах, в конструкторских бюро, где работали мои братья по матери, пошли сокращения, увольнения, переводы с “оборонки” на выпуск “кастрюль” (в чём признавался сам Горбачёв). Открывался злобещий смысл слов “безработица”, “вымирание народа”. В середине девяностых (1997) умер от инсульта живший в г. Энгельс (Саратовская область) старший из агаповских братьев Борис. На похоронах было много людей, но таких молчаливых поминок я не видел в своей жизни, ведь это был пик людского мора в России. О происходившем в России ужасается, чуть ли не плачет от жалости даже известная исполнительница роли “интердевочки” в одноименном фильме Елена Яковлева: “Жизнь за окном? Не дай Бог, я начну её понимать. Если я открою это окно и целиком окунусь в эту жизнь, то я сдохну. От жалости к людям, от того, что с ними делают... вокруг столько нищеты и запредельного”.

Я не мог воочию видеть положение моих братьев, далековатых от Москвы (Череповец, Горький), но Николай (Коля – по привычке с детства называли друг друга уменьшительными именами) жил ближе к Москве – три часа на электричке, и вся его жизнь в проклятых девяностых, можно сказать, проходила на моих глазах. Оказавшись безработным, он нашёл в Калуге поставщика тележек и занялся тем, что, закупая у него эти тележки, перепродавал их подороже в Москве, приезжая сюда регулярно дважды в неделю и останавливаясь у меня. Моя московская малогабаритная квартирка стала единственным пристанищем, где он мог отдохнуть от своих изнурительных поездок. Сам я тогда был в крайней нужде, немалые деньги от изданных книг, других литературных гонораров были уничтожены “гайдаровскими реформами”⁵, мизерная зарплата в Литинституте, пенсия (да и то надо было выбрать что-то одно из них), но при всём этом, кто же, кроме меня, мог помочь несчастному брату? И в течение десяти с лишним лет ежемесячно посильно деньгами помогал ему. И жена Татьяна, жалея его, всегда встречала как члена семьи.

Однажды я с братом Дмитрием (Лобановым), возвратившись в Москву из Жмеринки, где он в молодости долго служил офицером в армии, в ракетных частях, и куда уговорил меня поехать погостить к жившему там брату жены, так вот, однажды, сойдя с поезда, идя по перрону Киевского вокзала, я вдруг

в толпе слышу голос: “Тележка не нужна?” Коля! Стоит с двумя тележками в руках, смотрит и не видит, будто не узнаёт меня. Усталый, измученный вид от трёхчасовой дороги, часто на ногах в тамбуре, от бродяжничества по вокзалу в поиске покупателя. Эти поездки могли стоить жизни. Как-то он не появился у меня в обычный для него день, а когда пришёл на следующей неделе, я вскрикнул: “Коля, что с тобой?” Лицо в кровоподтеках, жалкая улыбка. Рассказал, как в вагоне электрички к нему подошёл неизвестный человек, потребовал документы, у Коли их с собой не оказалось, тогда на остановке тот вывел его из вагона, чтобы отвести в милицию, пошли в сторону от платформы, и далее Коля не помнит, что произошло с ним, — очнулся лежащим на земле без тележек, никого рядом. Видно, мнимый “контролёр” брызнул ему в лицо чем-то снотворным, и упавшему головой на каменную дорогу злосчастному торговцу оставалось только благодарить судьбу, что остался жив.

Самое страшное ожидало бедного Колю впереди. Бесследно пропала его молодая дочь Оля. Кажется, он обезумел в неотвязных своих мыслях о ней. Где его дочь? Калужская милиция скрывает правду о ней! Не подействовало на него и то, что связавшийся с калужской милицией по моей просьбе Александр Андреевич Проханов получил объективную информацию о ходе следствия. Бедный отец исходил всю Калугу, расспрашивая людей, осматривал пруды на окраине города, приходил в храмы, монастырь, думая, что дочь могла “уйти в религию”. Ходил по моргам. Но, как говорят в народе, беда не ходит в одиночку. Пропала дочь, а тут ещё болезнь жены — с нервными, психическими припадками, с бегством из больницы, и никогда в жизни я не воспринимал так реально смысл слова “трагедия”, как в телефонном звонке Коли: “Миша, произошла трагедия. Валя умерла”. А до этого в очередной приезд Коли ко мне услышал его телефонный разговор с женой о пропавшей дочери: “Валя, дорогая, не плачь, будем с тобой держаться, ведь правда?”⁶

А однажды у него вырвалось: “Только мама меня бы поняла”. Так и любимый мой дядя по матери Алексей Анисимович Конкин, повидавший такое на войне, что при воспоминании пережитого тогда лицо его искажалось судорогой желваков, даже такой человек в предсмертном бреде от обширного инфаркта звал мать на помощь себе.

Но закончу о Коле. Как-то зашёл у нас с ним разговор о математике, и я заслушался. Не мудрёной терминологией (не доступной мне, профану), а самим его голосом с нотой торжественности, какой-то даже задушевности. И само лицо его оживилось отсветом внутреннего огонька. Ба! Да ведь я понастоящему не знал брата! Не знал, можно сказать, скрытого поэта от математики. И кольнуло меня — сколько же творческого сокровища таится в русских людях, так и оставаясь нереализованным “по чужой и по нашей вине”, говоря словами поэта⁷. А ведь многие ли из “успешных” способны на подвиг моего брата? Закончив калужский педагогический институт и отслужив два года в армии, он несколько лет работал в школе, затем, перейдя на работу программиста столичного вычислительного центра, за три года (вместо пяти лет) окончил Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова (учился у академика Тихонова), совмещая работу с учёбой, при ежедневных поездках на электричке в Москву и обратно в Подольск (где он тогда жил), получил полноценный диплом. Как-то он признался мне, что от перенапряжения боялся сойти с ума.

* * *

Что остаётся у нас к концу нашей жизни? Бродил я по этой призрачной жизни почти целый век и теперь вот, как дитя, приползаю душой к могиле матери (на московском Хованском кладбище), где и мне скоро рядом с ней лежать. “Что всем — то и нам”, — слышал я от неё. Конечно, по-русски это “что всем” — то есть всему простому русскому люду, вот уж поистине избранному судьбины-лиходейки, не знающему соперников в мире по всему пережитому, жестокости испытаний. И вот теперь, в этих бесконечных рядах могил, крестах те же “что всем — то и нам”. И для тех, кто приходят сюда и в своё время поселятся здесь в безмолвии. И странно, что я сам будто пришёл к самому себе, увидел себя со стороны, как когда-то, в том загадочном сне, где будто я умер, стою вместе с пришедшими хоронить меня, кто-то называет мою

фамилию, странно мне это слышать, но я ничего не могу ни сказать, ни подойти к ним⁸.

Совместный путь

Ничего в жизни случайного действительно не бывает, как не случайной стала и возникшая между нами необходимость друг для друга, несмотря на большую разницу в годах. Начало нашей совместной жизни с Татьяной совпало с кануном ельцинского кровавого переворота, “шоковой терапии”, невиданного ограбления, мора народа. Как говорила моя мать (умершая незадолго до гибели Советского Союза): “Что всем, то и нам”. Всем – это о народе, выпавших на его долю испытаниях, жертвенности, когда людей объединяла общая судьба (“быть или не быть Отечеству”, как в годы Великой Отечественной войны). Но теперь, при новоявленных “демократах”, то, что относится ко “всем”, народу – это уже не общность в тех же бедствиях ради высокой цели, а общенародное чувство безысходности от поистине людоедства внутреннего врага.

И как образец новой “демократической власти” в “свободной России” – кровавое побоище у Дома Советов, расстрел его из танков 3-4 октября 1993 года. Я приехал туда впервые 21 сентября, когда появился указ Ельцина о роспуске Верховного Совета, органов советской власти по стране, видел, как выходили из метро Краснопресненская люди с красными флагами, направляясь к недалёкому отсюда Дому Советов. Здесь, на его площади, что-то возбуждающее было в гуле всё прибывающей массы людей. Приходил я сюда и в последующие дни. С балкона здания выступали известные по печати депутаты Верховного Совета, возмущались незаконностью ельцинского указа, призывали к защите Конституции, к объединению, к борьбе против наглого узурпаторства власти Ельциным. Из писательской братии повстречавшийся в толпе Владимир Крупин бросил мне на ходу: “Многовато красного цвета”. Действительно, преобладали в этом движущемся многолюдии “красные”, “советские”, и они-то стали главной мишенью погромщиков, видевших в них своих ненавистных врагов, “быдло”, “совков”, стоящих на пути захвата ими власти, народной, государственной собственности, разбойной капитализации страны, продажи её мировому капиталу.

Мои походы к Дому Советов закончились 26 сентября 1993 года, когда, заболев воспалением лёгких, я попал в больницу Литфонда. Но Татьяна продолжала приходить к Дому Советов. И когда возвращалась ранним утром домой (на недалёкой отсюда улице Заморёнова), услышала с балкона квартиры на одиннадцатом этаже крик тринадцатилетней дочери Гали: “Мама, танки!” Это шли бронетранспортёры (БТР) по улице мимо школы, на набережную, к Дому Советов. По рассказу жены, только что успела она прийти домой, как люди в военной форме запретили жильцам выходить из дома. Вскоре началась пальба, задрожали стёкла, пули попадали в окна. Приходилось скрываться в коридоре, сжавшись от страха на полу. Было непонятно, что происходит. (Позже шли разговоры, что на крыше дома были вооружённые люди).

Здесь я перевожу рассказ жены на собственные воспоминания о той телепередаче, которую, находясь в больнице, я случайно увидел уже в конце дня четвёртого октября, как стоявшие у Дома Советов под деловитое комментирование американского телевизионщика наводят орудия на здание и вслед за залпами из этажей вырываются чёрные клубы дыма. Меня буквально парализовало ощущение какой-то ирреальности происходящего. Только потом я понял, что это заранее подготовленное зловещее шоу было демонстрацией на весь мир расстрела России, сопротивляющейся “мировой демократии”.

Вечером восьмого октября, уйдя на время из больницы, я приехал на Краснопресненскую и вместе с Татьяной, ожидавшей меня здесь, мы пошли к месту побоища. Оцепленный автоматчиками скверик Павлика Морозова. Горящие свечи на земле, иконы, фотографии убитых. Цементные плиты у красного ларька, на месте, где лежали убитые. На асфальте ещё бурые разводы крови. Женщина рассказывает, как у двоих из погибших лица были закрыты задранными краями курток, носок весь в крови, часы на обнажённом животе. На стене стадиона – проклятия убийцам (впоследствии эту стену снесут). На земле лежала большая амбарная книга с объявлениями о розыске пропавших после расстрела людей. Со стены стадиона Татьяна стала переписывать

свидетельства очевидцев. Впоследствии я воспроизвёл эти записи в своих заметках “Русские люди, проснитесь!” (“Литературная Россия”, октябрь 1993. Вошли в мою книгу “Память войны”, 2006). Мы оказались рядом с железной глыбой, на верху её застыла фигура солдата с характерной азиатской физиономией. Жена читала, что-то записывала, а меня ожгла мысль, что неподвижный азиат сейчас вскинёт автомат (рядом никого не было, кроме нас двоих) и полоснёт по записывающей Татьяне (после недавнего кровавого разгула это было бы обычным делом). Да и самой её здесь могло не быть, задержись она тогда на площади всего на полчаса до начала расстрела, но сейчас она как ни в чём не бывало стояла спиной к автоматчику и спокойно записывала. И осталось во мне это знобящее ощущение человеческой беззащитности перед автоматом насильника.

Увиденное и пережитое в дни октябрьского переворота побудило Татьяну обратиться к исследованию скрытых, потаённых сил, которые, как “древоточцы”, точили государственный ствол и готовили его разрушение. В 1998 году вышла с предисловием известного священника, отца Димитрия Дудко книга Татьяны Окуловой-Микешиной “Бесовщина под прикрытием утопий” (до этого сокращённый вариант под названием “За реформы – всегда, за утопии – никогда!” был опубликован в “Нашем современнике” (1998) и получил премию журнала за 1998 год). В этом фундаментальном исследовании впервые показана разрушительная роль проникших в центральный аппарат диссидентов. Будучи советниками, помощниками, референтами, консультантами “вождей” от Хрущёва до Горбачёва, Ельцина, эти западники-космополиты, по словам одного из них, получили возможность реально воздействовать на власть, “разрыхлять спрессованный монолит системы, вносить в политический организм “бактерии перемен”. Они точили систему изнутри, действовали как “агенты влияния”, “пятая колонна”, подрывная деятельность этой нечисти стала одной из причин падения государства. <...>

* * *

В её родословной по матери то, что называется кровью, – и русская, и французская, и немецкая, и польская. Один из её предков – француз, граф Шамборант, воевал с Наполеоном на стороне русских, награждён орденом...⁹

Отец её, Николай Павлович Микешин, из коренных, ярославских русаков, участник Сталинградской битвы. Последние два обстоятельства – преданность далёкого предка-француза к своей новой родине России и причастность отца к Сталинградской победе – стали определяющими в её патриотическом сознании. Но вот духовное влияние было иное – со стороны дочери на родителей. Сама воцерковлённая, она и их привела в Церковь, убедила венчаться незадолго до их смерти. Часто приводила знакомого батюшку на дом, в больницу причащать их. О себе могу сказать, что для меня бесценным приобретением смирения стало понимание того, что хотя и хожу в церковь, но насколько я далёк от серьёзности жены, не пропускающей ни одной воскресной службы в храме. И как подкрепляет меня в это страшное русофобское время её до наивности любовь ко всему русскому, к русскому характеру, к России. <...>

* * *

Откровением для меня стало долгое знакомство, встречи с венчавшим нас с женой отцом Владимиром (Лукавецким). Он рассказывал о своём сыне, занимающемся самбо, дочке, живущей в Италии, и только потом, после его внезапной кончины в 52 года мы узнали, что это были его духовные дети: своей семьи у него не было, жил он где-то в полуподвале. На отпевании его в церкви Державной Божией Матери было море народа, люди плакали, говорили о его помощи им. Ежегодно в ноябре на его могилу под Москвой в Крекшино ездят автобусы, выделяемые его прихожанами-военными. Кажется, что он был святым. (Прочитав одну из моих книг, говорил, что понравилась, что в ней всё, как в жизни).

* * *

Стоит мне заболеть, как она тут же бежит, договаривается с нужными врачами — или об оптимальном для меня лечении. Если даже и уговариваю её не идти со мною в поликлинику на приём к врачу, иду один, а через несколько минут влетает в кабинет врача и начинает скрупулёзно записывать каждое его слово. Кладут меня в подмосковную больницу, медицинского полиса со мной нет, дают два-три часа, чтобы привезти его из Москвы, и вот вижу в коридоре — влетает за полчаса до окончания срока моя Таня — радостная: успела — со всеми бумагами.

Не любит жена об этом (воцерковлённости) говорить, а только знаю, в воскресенье и в праздничные дни торопится в церковь, радуется, когда идём вместе. Знаю, как усиленно она старается что-нибудь сделать для нуждающихся в помощи церковных старушек. Не говоря уже о собственной матери и отце, которым она помогала с Божией помощью войти в церковную жизнь и уйти по-христиански¹⁰.

* * *

Кажется, всегда и во всём сговорчивая. Скажет одно, и тут же: “Ну, не важно”.

А здесь зная, как она устала за вчерашний день, попросить: “Не ходи сегодня в церковь, отдохни, мы же позавчера были. — Сегодня же воскресенье, как я могу не пойти”. И каким же ничтожеством я себя в это время чувствую. А ещё говорим: жена слаба¹¹.

* * *

17 июля 2011. Входит быстро в комнату Таня, радостно говорит: “Дождь! Идёт Андреевский дождь! (Андрея Критского). Какая прекрасная жизнь, когда идёт Андреевский дождь!” Таня ходит по комнате, поднятыми вверх руками приветствуя дождь. За окном шум дождя. Гремит гром. Прыгают от радости веточки рябины за окном.

* * *

Видел сон. Стоим с женой Татьяной у какого-то здания с массой людей, подходит ко мне некий мужчина без возраста, не раз уж приходивший ко мне в других снах. Говорит со мной, как давний знакомый, перед которым я чувствую себя заложником смутного обязательства, долга перед ним. В какой-то момент мы с женой отделяемся от него и уходим по дороге вниз, в глубокую лощину. Оттуда видно, как наверху по дороге мелькают фигурки людей, кажется, что наших преследователей. Мы стоим с женой рядом, но вдруг я оказываюсь один, её не видно. “Таня, Таня!” — кричу я, и меня обдаёт ужас молчания, беспредельность охватившего меня вдруг одиночества, неизвестности этой окружающей меня земли. И я проснулся с таким тяжёлым, угнетённым состоянием духа, что не сразу освободился от этого в чём-то реальном наваждении (14 сентября 2015).

Перед операцией

Это было место, самое подходящее для меня в больнице. Узкая площадка за углом отсека коридора напротив дверей лифта, у большого окна с видимым отсюда вечерним затухающим городом. В голове застыла ледяная мысль: видно, настало для меня то в жизни, о чём я мог не раз думать как об ожидающей меня неизбежности, но тут было уже и другое. Страшно обнажилась несомненная для меня реальность Того, Кто только и может услышать меня в этот смертный час. У меня нет голоса для пения, хотя я люблю музыку, и в моей душе, можно сказать, живёт, звучит для меня возвышенная музыка вроде моцартовской “Лакримозы” из “Реквиема” и “трепет слезы” из

баховских духовных кантат, “Сказание о граде Китеже” Римского-Корсакова, “Колокола” Рахманинова. Да и самые псалмы пелись. Почему-то вдруг я за-пел. Я медленно ходил по отсеку коридора и тихо-тихо пел. Слова были самые простые, но единственно необходимые для меня: “Слава Богу за всё, слава Богу за всё”. Я выпевал эти слова, обращаясь к Богу, прося у Него помилования, зная, что я весь отдаюсь Его воле, и как в долгой моей жизни был смысл в страданиях, приведших меня к Нему, так да будет по воле Его и то, что ожидает меня после операции.

А на другой день, в такое же вечернее время, неподалёку от вчерашнего места, мы с женой Татьяной допоздна сидели в коридоре на диване, и оба понимали, что это, может быть, наш последний разговор. Мы держали друг друга за руки, я видел в её глазах слёзы и чувствовал нестерпимую к ней жалость. “Боже мой, Боже, — молил я мысленно, — продли мне жизнь ради Тани, ей будет после меня очень одиноко”.

Жена просила молиться за меня дорогих для нас людей. Постоянно молились за меня протоиерей (замечательный писатель) Ярослав Шипов, монах Александро-Свирского монастыря отец Феодор (бывший студент моего Литинститутского семинара), священник Евгений Булин (также учившийся в Литинституте). Молились многие мои студенты.

Благословенно всё доброе на земле, всё сострадающее и милосердное.

Подготовка к печати и примечания Т. Н. Окуловой, кандидата исторических наук, ст. научного сотрудника ИМЛИ им. М. Горького РАН, вдовы М. П. Лобанова.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Первая статья из новой автобиографической книги М. П. Лобанова была опубликована к 90-летию со дня его рождения в “Нашем современнике”. В 2015 году Михаилу Петровичу Лобанову была присуждена премия имени В. В. Кожина “за статью “Убеждение” (2015, № 11), а также за активную нравственную позицию в литературе и в жизни” (“НС”, 2016, № 1). Помню, уже после вручения премии, когда Михаил Петрович достал с полки одну из давних книг Кожина “Статьи о современной литературе” (М.: Современник, 1982), меня как-то особенно тронули слова Вадима Валериановича, адресованные ему (дарственная надпись на книге), с таинственным упоминанием о вечности: “Дорогому и милому Михаилу Петровичу с безграничным уважением и любовью навечно. Вадим Кожин. 8.12.1982”.

Сегодня, предвзярая новую, юбилейную публикацию М. П. Лобанова, уместно вспомнить и знаменательные слова от редакции журнала “Наш современник” (вспном общественого совета которого писатель являлся с 1998 года), сказанные ещё при жизни писателя, в год его 85-летнего юбилея (включённые, кстати, им и в последнюю книгу, в раздел “Писатели о М. П. Лобанове): “Вот уже полвека статьи и книги Михаила Лобанова будоражат не только литературную общественность, но и сильных мира сего. Его публикации в журнале “Молодая гвардия” заставили бесноваться небезызвестного А. Яковлева, а знаменитая статья “Освобождение” (1982) вызвала негодование генсека Ю. Андропова. О нём восторженно отзывались Л. Леонов и А. Солженицын, Ю. Бондарев и А. Проханов. Его многократно подвергали проработке. Но и любили!

“... Статья Михаила Лобанова, — писал об “Освобождении” выдающийся русский мыслитель Вадим Кожин, — одно из самых важных духовных событий за двадцатилетие “застоя”... Читая семь лет назад статью Михаила Лобанова, я испытывал, помимо всего прочего, чувство великой радости оттого, что честь отечественной культуры спасена, что открыто звучит её полный смысла бескомпромиссный голос”.

Солдат Великой Отечественной, Михаил Лобанов и в мирное время продолжает сражение за торжество Правды и Добра...” (“НС”, 2010, № 5).

Суть этого вечного сражения за торжество Любви, Сострадания, Милосердия воин духа Михаил Лобанов в конце своей жизни (в той же последней автобиографической книге, в статье “Цена убеждения”) сформулировал так: “Если коротко сказать, в чём выразилось моё убеждение, которому я никогда не изменял, то определяющим словом здесь будет русскость. Причём не та крикливая, горлопановская, невежественная псевдорусскость, а та русскость, о которой говорит В. В. Кожин в своём автографе мне (в своей книге “Судьба России: вчера, сегодня, завтра”), воспроизведённом в моей книге “В шесть часов вечера каждый

вторник. Семинар Михаила Лобанова в Литературном институте”: “Михаилу Петровичу Лобанову, наиболее полнокровно – из всех известных мне моих современников – воплотившему в себе русскую духовную стихию – с наилучшими пожеланиями. Вадим Кожин. 23.III.1998”. Именно такая, неосознаваемая мной тогда русскость и вошла в духовную стихию моей первой книги “Роман Л. Леонова “Русский лес” (1958), вышедшей благодаря этому за пределы своего времени, о чём говорит, например, современный популярный молодой писатель, именую её “доныне небезытересной книгой” (Захар Прилепин. “Леонид Леонов: “его игра была огромна”. М.: Молодая гвардия, “ЖЗЛ”, 2010. С. 398). Думаю, что интерес к книге более чем полувековой давности может быть вызван тем запасом внутренней энергии, которая обычно исходит именно из творческого “однородья” автора. Для меня таким “однородьем” была и остаётся Россия, русский народ с его героической, трагической историей, со всеми его несчастьями, падениями и Святой Русью”.

² На полях рукописи карандашная помета рукой М. П. Лобанова: “Писать “обнажившимся сердцем”; “художник – сострадание, жалостливость”. – Именно так, с обнажённой болью на человеческое страдание писал и так жил М. П. Лобанов. Воистину – “от избытка сердца уста глаголют” (Мф. 12, 34). Каждое слово писателя было оплачено самой его жизнью. И вся его жизнь – начиная с участия в 1943 году в Курской битве (единственный из писателей – пехотинец, с двумя боевыми орденами) – до самых последних дней прошла “в сражении и любви” (название одной из итоговых его книг (2003), журнальный вариант которой печатался в “Нашем современнике”).

³ На полях рассказа А. П. Платонова “Происхождение мастера” (в кн.: Платонов А. П. Повести, рассказы / Составитель М. А. Платонова. Кемерово, 1977) помета рукой М. П. Лобанова: “Жалость Платонова к детям, особенно 12-летним подросткам из нищих семей (жалость “покрывается” “грубым языком” детей, “трезвостью” авторской речи”).

⁴ Чувство жалости ко всему живому оставалось в М. П. Лобанове до самых последних дней жизни. Например, к бездомной собачке-хромоножке, любимице жильцов нашего дома, которая однажды неожиданно лизнула его руку на автобусной остановке, и с тех пор он её больше не видел, исчезла она из этого мира (говорила, её раздавила машина), но осталась жить в одной из замет духовных Михаила Петровича “Из памятного” последних лет. А персонаж ещё одной такой удивительной его заметы – “Божья тварь” (из книги “В сражении и любви”), собачка наша, Пепик, долгие годы уже бегают по просторам интернета, стал темой (вместе со своим хозяином) для школьных сочинений. “Какая-то чуткая учительница, наверно, нашла мою книгу”, – улыбался Михаил Петрович, читая такую, например, просьбу одного из подростков, помещённую на учебном сайте: “Помогите найти “Божью тварь” (текст по М. П. Лобанову, из художественной литературы про собаку)” (см., напр.: Форум о русском языке (Ваши сочинения); ЕГЭтека и т. д.). Когда однажды я принесла мужу очередную порцию распечатанных из интернета отзывов о “Божьей твари”, он, как всегда улыбаясь в этом случае, сказал: “У меня нет расстояния между мной и собачкой. У меня душа ложится на бумагу”. Рискуя нарушить наказ Михаила Петровича “перерабатывать эмоциональное в духовное” (лобановские “семинаристы” меня поймут!), всё же не могу не вспомнить, как радовало нас, когда, например, за городом с соседнего дуба спускалась и забегала к нам в гости на летнюю веранду любопытная белочка и, бывало, по несколько часов сидела тихо, почти не двигаясь, под столом, у ног погружённого в чтение и свои мысли доброго мудрого человека. Было, видимо, что-то милосердное в его отношении к “братьям нашим меньшим”. Потому-то М. П. Лобанову не могла не быть близкой, конечно, и легенда о Франциске Ассизском, как этот святой разговаривал на одном языке с птицами, сострадая (как написал когда-то Михаил Петрович) неразумной твари, “желая, чтобы они радовались, что одарены всем, в чём нуждаются; птицы внимательно слушали и только после благословения его улетали” (статья “Больше чем поэзия”, 1985). Один из снимков Михаила Петровича с рыженькой лесной гостьюей, сидящей у его руки (и между ними, кажется, “не было расстояния”), – не удержалась, послала вместе с другими лобановскими фотографиями, военными справками, документами, книгами и статьями в Краснодар строгому и взыскательному критику Ю. М. Павлову, который читает в университете лекции по творчеству М. П. Лобанова – писателя, у которого всё подлинное, пережитое, живое, “природное” (“природа”, а не “синтетика”, говоря его собственными словами).

⁵ Из статьи М. П. Лобанова, члена Союза писателей с 1959 года, профессора Литературного института с 1963 года, инвалида Отечественной войны II группы “В шесть часов вечера накануне победы”: “Ельцинско-гайдаровское ворьё

в начале января 1992 года ограбило меня дочиста, я лишился всех своих трудовых сбережений — многих десятков тысяч рублей, которые десятилетиями поступали в сберкассу от многих книг, работ. На этом не успокоилось ворьё — доконало всех нас “августовским обвалом” (газ. “Завтра”, 1999, июнь). Михаил Петрович просил меня сохранить эти сберкнижки, *спалённые в один миг*, по его словам, *никому не ведомым ранее дебилом Гайдаром, как и все трудовые сбережения десятков миллионов людей*, и даже, возможно, опубликовать их, чтобы и будущие читатели полистали эти наглядные свидетельства “реформ” 90-х годов — с их невиданными темпами убыли людского “балласта”.

⁶ В другой рукописной редакции далее: “Держится, держится и после смерти жены, но в разговоре все его мысли, вопросы в глазах — только о дочери и жене, только о них”.

⁷ В один из ноябрьских дней 2016 года — последнего в жизни мужа моего, Михаила Петровича Лобанова, когда я должна была выехать на работу, — попросила его брата Николая Агапова посидеть с ним несколько часов, поддержать его. Он приехал из Калуги и, видно, снова рассказывал брату Мише увлечённо что-то радостное, удивительное и о своей любимой науке — математике... Когда же я вернулась домой, муж сказал мне с осветившей его усталое лицо улыбкой: “Я просто очарован Колей”.

⁸ “Сколько в памяти, как во сне, таится болезненного, что лучше бы и не прикасаться, не затрагивать этого”, — замечал М. П. Лобанов в другом варианте к статье. О вышеприведённом “загадочном сне” он упоминает и в одной из своих замет духовных “Из памятиного” — “Поступают сигналы” (от 24 февраля 2013 г.):

“Недавно мне снился сон: я умер, лежу и вижу вокруг себя людей. Слышны голоса: такой-то умер. Было жутко слышать свою фамилию. Проснулся и продолжал чётко видеть эту картину, в отличие от других снов — когда после пробуждения всё смывается, никак нельзя вспомнить, что видел. А сегодня (24 февраля 2013) — ночью вдруг проснулся от странного, никогда ранее не испытанного состояния с пронзительной мыслью: вот она, та самая последняя минута, которая неизбежно должна была наступить. И также внезапно эта остро пугающая мысль отступила. И острая жалость к жене, на которую падёт главная ноша прощания.

Наступает для каждого человека жизнь, когда каждый день ощущается как ниточка, которая может в любое время оборваться”. Читаешь сегодня всё это сокровенное, выстраданное, и думаешь, сколько же было в этой его пронзительной любви-жалости к близкому человеку от материнского чувства, материнской заботы... Недаром вспоминал не раз Михаил Петрович запавшие ему в душу с детства рассказы матери-праведницы Екатерины Анисимовны о том, как, например, тяжелобольная старушка беспокоилась о своей хворой дочери, напутствовала её: “Ты надень сапоги, когда хоронить меня будешь, а то простудишься, опять заболеешь”. (см.: Лобанов М. П. В сражении и любви. М., 2003. С. 23). (Такие “дикости”, как давно заметил Михаил Петрович Лобанов, хорошо понимали Достоевский, Толстой, в отличие от “просвещённых” умников, не говоря уже о нынешних “интеллектуалах”. Да ещё с особой, хочется добавить, вирусной, в последние времена патологической “брезгливостью к жалости”.)

⁹ Граф Виктор Иванович де Шамборант (1784–1861) принимал участие (в рядах 14-й артиллерийской бригады) в Отечественной войне 1812 года и освободительном Заграничном походе русской армии 1813–1814 годов, стал Георгиевским кавалером (награждён также орденами св. Владимира 4 ст. с бантом, св. Анны 2 ст.; впоследствии за русско-турецкую войну 1828–1829 годов получил Императорскую корону на орден св. Анны и орден св. Станислава II ст. с Императорской короной; вышел в отставку в 1848 году в чине генерал-майора) (см., напр.: Военный орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия: Биобиблиографический справочник. М.: Русский миръ. Федеральное архивное агентство. Российский военно-исторический архив, 2004. С. 226. Дворянский календарь. Справочная родословная российского дворянства. Тетрадь 15. М.: Старая Басманная. 2010). Окулова Т. Н. “Чтоб составить для России ожерелье славы...” (По страницам “Сына Отечества” — журнала, рождённого Отечественной войной 1812 года): Светлой памяти моего мужа, писателя, фронтовика-орденоносца Михаила Петровича Лобанова // Очерки истории русской публицистики первой трети XIX века. М.: ИМЛИ РАН, 2020. С. 323–471).

¹⁰ М. П. Лобанов со свойственным ему великодушием пишет о “воцерковлении Татьяны” (то есть автора этих строк), но тут необходимо сегодня существенное уточнение: если это и начало в какой-то степени происходить с Божией помощью, то потому, что судьба опять же послала в спутники жизни человека редкой породы, особого духовного аристократизма, подвижника — одного их тех, кто умел читать Библию не по касательной (говоря лесковским языком), а “до Самого до Христа дошёл”.

¹¹ В рукописи — под заглавием: “О Тане. Убеждение”.